

В семье. Ги де Мопассан

Трамвай, шедший в Нейи, только что миновал Ворота Майо и несся теперь по широкой дороге, выходящей к Сене. Паровичок, прицепленный к вагону, гудел, чтобы устранить препятствия со своего пути, плевался паром и пыхтел, как человек, который задыхается от бега. Его поршни производили шум, словно быстро движущиеся железные ноги.

Душный зной угасающего летнего дня навис над дорогой, от которой, несмотря на отсутствие малейшего ветерка, поднималась белая меловая пыль. Густая, едкая и горячая, она липла к влажной коже, засыпала глаза, проникала в легкие.

Люди, ища прохлады, выходили на порог своих домов.

Окна в вагоне были спущены, и занавески колыхались от быстрого движения. Внутри было лишь несколько человек, в такие жаркие дни люди предпочитают ездить на империале или на открытых площадках. Тут были толстые дамы из предместья в безвкусных нарядах, мешанки, напыщенной важностью заменявшие врожденное изящество, которого они были лишены, и мужчины, уставшие от своих канцелярий, с желтыми лицами, со сгорбленными спинами и неровными плечами – результатом постоянной работы за письменным столом в согнутом положении. Их беспокойные и грустные лица говорили еще и о домашних заботах, о вечной нужде в деньгах, об окончательно похороненных былых надеждах, так как все они принадлежали к армии придавленных жизнью людей, кое-как прозябающих в убогих оштукатуренных домишках с одной грядкой вместо сада, среди свалочных мест, окружающих Париж.

У самой двери вагона маленький толстый человечек с одутловатым лицом и животом, свисающим между раздвинутых колен, весь в черном, с орденом в петлице, разговаривал с высоким, худым, неряшливого вида мужчиной в очень грязном костюме из белого тика и в потрепанной соломенной шляпе. Первый говорил медленно, так сильно запинаясь, что временами он казался заикой. Это был господин Караван, чиновник морского министерства. Второй, служивший когда-то врачом на торговом судне, обосновался после жизни, полной приключений, на площади Курбеуа, где применял к нищему населению еще сохранившиеся у него смутные остатки медицинских познаний. Фамилия его была Шене, и он требовал, чтобы его называли доктором. Относительно его нравственности ходили разные слухи.

Караван вел обычное существование чиновника. В продолжение тридцати лет он каждое утро неизменно отправлялся в свою канцелярию одной и той же дорогой, встречая в тот же час на том же месте одних и тех же людей, направлявшихся по своим делам. И вечером, возвращаясь домой той же дорогой, он снова встречал те же самые лица, которые с годами старели у него на глазах.

Каждый день, купив на углу предместья Сент-Оноре газету за один су и затем еще две булочки, он входил в здание министерства, как преступник в тюрьму, и быстро поднимался в свою канцелярию, с сердцем, бьющимся от тревоги, в вечном ожидании выговора за какую-нибудь оплошность, которую он, может быть, совершил.

Ничто никогда не нарушало однообразного течения его жизни, так как господина Каравана ничто не интересовало, кроме того, что касалось его канцелярии, всяких повышений и наград по службе. Как в министерстве, так и в кругу своей семьи (он женился на бесприданнице, дочери одного из сослуживцев) он говорил всегда только о служебных делах. Все мысли, все надежды, все мечты его души, как бы атрофированной ежедневной притупляющей работой, были связаны с министерством, в котором он служил. Одно только обстоятельство постоянно ущемляло его чиновничье самолюбие: зачем допускают морских комиссаров («жестянщиков», как их называли за серебряные галуны) на должности начальников и их помощников? И каждый вечер за обедом он горячо доказывал жене, разделявшей его негодование, что во всех отношениях нелепо предоставлять места в Париже людям, чье дело – плавать на море.

Он состарился, не заметив, как прошла жизнь. После учения в коллеже сразу началась служба, и школьных надзирателей, которых он прежде боялся, сменили теперь начальники, перед которыми он испытывал трепет. У порога кабинетов этих властелинов он начинал дрожать с головы до ног. Этим вечным страхом объяснялись его неловкие манеры, смиренный вид и какое-то нервное заикание.

Он знал Париж не больше, чем слепой нищий, которого собака его каждый день приводит к одному и тому же месту. И когда он читал в своей грошовой газетке о каких-либо происшествиях и скандалах, он их воспринимал как фантастические сказки, придуманные только для развлечения мелких чиновников. Сторонник порядка, реакционер, не принадлежащий ни к какой определенной партии, враг всяких «новшеств», он всегда пропускал статьи о политических событиях, которые, впрочем, газетка всегда искажала в угоду тем, кто за это платил. Каждый вечер, проезжая по Елисейским полям, он смотрел на шумную толпу гуляющих и непрерывный поток экипажей, как смотрит чужестранец, путешествующий по дальним, незнакомым краям.

В этом году исполнилось тридцать лет его службы, и к 1 января он получил орден Почетного легиона, которым учреждения военного ведомства вознаграждают за долгий угнетающий труд (это называется «за беспорочную службу») несчастных каторжников, прикованных к зеленым папкам. Неожиданное отличие внушило Каравану новое, высокое мнение о своих способностях и совершенно изменило его привычки и облик. Он перестал носить цветные панталоны и пестрые жилеты, заменив их черными брюками и длинным сюртуком, на котором лучше выделялась его чрезмерно широкая орденская ленточка. Из законного чувства приличия, уважения к национальному ордену, к которому он теперь принадлежал, он стал бриться каждое утро, старательно чистить ногти, менял белье каждые два дня и постепенно превращался в другого Каравана, прилизанного, величественного и снисходительного.

У себя дома он при всяком удобном случае старался вернуть слова «мой орден». Его обуяла такая спесь, что он не мог больше спокойно видеть какой бы то ни было знак отличия в петличках у других. Особенно выводили его из себя иностранные ордена; он утверждал, что их не следовало бы разрешать носить во Франции. Больше всего его раздражал доктор Шене, которого он каждый вечер встречал в трамвае с какой-нибудь ленточкой в петлице – то белой, то голубой, то оранжевой, то зеленой.

Встречаясь, эти двое людей всю дорогу, от Триумфальной арки до Нейи, разговаривали всегда об одном и том же. И сегодня, как всегда, они коснулись прежде всего местных злоупотреблений, причем оба возмущались тем, что мэр Нейи смотрит на все это сквозь пальцы. Потом, как это неизменно бывает при встрече с врачом, Караван завел разговор о болезнях, рассчитывая таким путем незаметно для доктора выудить у него несколько бесплатных советов, а то и получить целую консультацию. К тому же с некоторых пор

его беспокоило здоровье матери: с нею часто случались длительные обмороки, а она, несмотря на то что ей было девяносто лет, и слышать не хотела о лечении.

Ее преклонный возраст умилял Каравана. Он беспрестанно спрашивал «доктора» Шене:

– Часто вам приходилось видеть, чтобы люди доживали до таких лет?

И при этом он весело потирал руки, радуясь, быть может, не столько тому, что старушка зажила на земле, сколько мысли, что долгая жизнь матери служит как бы залогом его собственного долголетия. Он продолжал:

– Да, в нашей семье живут долго. Вот и я уверен, что доживу до глубокой старости, если только со мной не произойдет какой-нибудь несчастный случай.

Во взгляде лекаря выразилось сожаление. С минуту он разглядывал багровую физиономию собеседника, его толстую шею, живот, свисавший на дряблые и жирные ноги, на всю его апоплексическую полноту старого расслабленного чиновника. Потом, сдвинув на затылок свою грязноватую соломенную шляпу, прикрывавшую ему голову, сказал со смешком:

– Не будьте так уверены, мой милый! Ваша мать – сухарь, а вы – налитая бочка.

Караван, расстроенный, замолчал.

Между тем трамвай подошел к станции. Собеседники вышли, и Шене предложил зайти выпить стаканчик вермута в находившееся поблизости кафе «Глоб», постоянными посетителями которого они оба были. Хозяин, их приятель, протянул им два пальца, которые они по очереди пожали над уставленной бутылками стойкой. Потом они подошли к трем любителям домино, засевшим тут с полудня. Обменялись дружескими приветствиями и неизбежным «что новенького?», после чего игроки продолжали прерванную партию. Затем вновь пришедшие пожелали им доброго вечера. Те, не поднимая головы, протянули им на прощание руки, и оба приятеля пошли каждый к себе домой обедать.

Караван жил неподалеку от площади Курбева в трехэтажном домике, нижний этаж которого был занят парикмахерской.

Две спальни, столовая и кухня составляли всю квартиру, в которой ветхие стулья перекочевывали по мере надобности из комнаты в комнату. Чистке и уборке этой квартиры госпожа Караван посвящала все свое время, между тем как ее двенадцатилетняя дочь Мария-Луиза и девятилетний сын Филипп-Огюст носились вдоль уличных канав вместе с мальчишками всего квартала.

В комнате над спальней Караван поместил свою мать, которая славилась скупостью во всем околотке. Так как она к тому же была очень худа, то соседи острили, что господь бог применил к ней ее собственные правила строгой бережливости. Она всегда бывала в дурном настроении, и у нее не проходило дня без ссор и взрывов бешеного гнева. Из своего окна она ругала соседей, выходивших на порог, уличных торговков, метельщиков и мальчишек, которые в отместку бегали за нею, когда она выходила на улицу, крича ей издали: «Старуха-грязнуха!»

Молоденькая служанка-нормандка, невероятно бестолковая, помогала по хозяйству и ночевала наверху у старухи – на всякий случай, чтобы не оставлять ее одну.

Когда Караван вернулся домой, жена его, одержимая хронической страстью наводить чистоту, полировала куском фланели красное дерево стульев, разбросанных по пустым комнатам. Она постоянно ходила в нитяных перчатках, носила на голове украшенный разноцветными лентами чепец, который то и дело съезжал на одно ухо, и твердила всякий раз, как ее заставляли с воском или щеткой, за утюгом или стиркой:

– Я не богата, у меня все очень скромно, но единственная моя роскошь – это чистота, и эта роскошь не уступает всякой другой.

Обладая твердым практическим умом, она во всем руководила мужем. Каждый вечер за столом, а потом в постели они подолгу разговаривали о служебных делах, и, несмотря на то что она была на двадцать лет моложе мужа, он поверял ей все, как своему духовнику, и во всем следовал ее советам.

Она и в молодости не отличалась красотой, а теперь – маленькая и сухощавая – была и вовсе уродлива. Благодаря неумению одеваться ее скудные женские прелести, которые мог бы выгодно оттенить хорошо подобранный костюм, всегда оставались незаметными. Юбки ее постоянно сползали набок; она часто почесывалась, не обращая внимания на то, где находится, и не стеснялась присутствующих. Это была нелепая привычка, граничившая с нервным тиком.

Единственным украшением, которое она себе позволяла, было обилие шелковых лент на вычурных чепчиках, которые она обычно носила дома.

Увидев мужа, она поднялась и, целуя его в бакенбарды, спросила:

– Ну как, мой друг, ты не забыл о Потене?

(Это было поручение, которое он обещал выполнить.) Но Караван упал на стул как сраженный: он опять забыл – уже в четвертый раз!

– Нет, это какой-то рок, – воскликнул он, – это какой-то рок! Ведь я думаю об этом весь день, а как наступает вечер, опять забываю!

Видя, что он удручен, жена его утешила:

– Ну ты вспомнишь об этом завтра, вот и все. Как в министерстве? Ничего нового?

– Есть большая новость: еще один «жестящик» назначен помощником начальника.

Госпожа Караван сделалась серьезной:

– В каком отделе?

– В отделе заграничных закупок.

Она рассердилась:

– Значит, на место Рамона, то самое, на которое я рассчитывала для тебя! А как же Рамой? В отставку?

Муж пробормотал:

– Да, в отставку.

Она окончательно рассвирепела, и чепец ее съехал на плечо:

– Ну с этим, видно, придется кончать, в этой дыре тебе больше нечего делать! А как зовут твоего комиссара?

– Бонассо.

Она взяла морской ежегодник, который всегда держала под рукой, и, отыскав фамилию Бонассо, прочла: «Бонассо. Тулон. Родился в 1851 г. Младший помощник комиссара в 1871 г. С 1875 г. – помощник комиссара».

– А в плавании он когда-нибудь был, этот комиссар?

Ее вопрос развеселил Каравана. У него даже живот затрясся от смеха:

– Как Бален, совсем как его начальник Бален.

И, смеясь еще громче, он повторил старую шутку, которую в министерстве все находили замечательно остроумной:

– Их можно посылать ревизовать морскую станцию Пуандю-Жур только сухопутным путем; их даже на речном пароходике укачает.

Но жена, как будто не слыша, продолжала оставаться серьезной. В раздумье почесывая подбородок, она пробормотала:

– Если бы только иметь какого-нибудь знакомого депутата! Когда в Палате узнают обо всем, что здесь происходит, министр сразу вылетит...

Конец фразы заглушили крики, раздавшиеся на лестнице. Это Мария-Луиза и Филипп-Огюст возвращались с улицы, угощая друг друга на каждой ступеньке оплеухами и пинками. Мать яростно устремилась к ним навстречу и, схватив обоих за руки, втокнула их в комнату, наградив изрядными подзатыльниками.

Увидев отца, дети тотчас бросились к нему. Он нежно и долго обнимал их, потом сел, усадил обоих к себе на колени и стал болтать с ними.

Филипп-Огюст был скверный мальчишка, растрепанный, грязный с головы до ног, с лицом кретина. Мария-Луиза уже напоминала мать, говорила так же, как она, повторяя ее слова, копируя даже ее жесты. Она тоже спросила:

– Что нового в министерстве?

Отец весело отвечал:

– Твой приятель Рамон, который каждый месяц у нас обедает, расстанется с нами, дочурка. На его место назначили нового помощника начальника.

Мария-Луиза посмотрела на отца и сказала сочувственным тоном не по летам взрослого ребенка:

– Значит, еще один перешел тебе дорогу.

Отец перестал смеяться и ничего не ответил. Потом, желая переменить разговор, обратился к жене, которая теперь протирает окна:

– А как там мамаша у себя? Здорова?

Г-жа Караван перестала работать, обернулась, поправила свой чепец, уже совсем было сползший на затылок, и дрожащими губами произнесла:

– Ах да, послушай-ка, что я тебе скажу про твою мать! Хорошую шутку она мне устроила! Представь себе, приходит к нам госпожа Лебоден, жена парикмахера, занять у меня коробку крахмала; меня не было дома, и твоя мать выгнала ее вон, обозвав при этом «попрошайкой». Ну и отчитала же я старуху! Она сделала вид, что не слышит, как всегда, когда ей говорят правду. Но поверь, она не более глуха, чем я. Все это одно притворство: недаром же она сразу, не говоря ни слова, ушла к себе наверх.

Караван смущенно молчал. В это время вбежала служанка и объявила, что обед подан. Тогда, желая позвать мать, Караван взял палку

от метлы, всегда стоявшую в углу, и трижды постучал ею в потолок.

Все прошли в столовую, и госпожа Караван-младшая в ожидании свекрови стала разливать суп. Но старуха не приходила, и суп стыл. Тогда все потихоньку начали есть. Когда тарелки опустели, они подождали еще. Разозленная госпожа Караван накинулась на мужа:

– Ты знаешь, что она это нарочно делает! А ты всегда за нее заступаешься.

Муж в сильном замешательстве, очутившись между двух огней, послал Марию-Луизу за бабушкой и стал ждать в неподвижной позе, не поднимая глаз, в то время как жена сердито постукивала концом ножа о ножку своей рюмки.

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежала девочка, бледная, едва переводя дух. Она быстро проговорила:

– Бабушка лежит на полу.

Караван сразу вскочил и, бросив салфетку на стол, устремился наверх. По лестнице громко застучали его тяжелые и быстрые шаги. Жена же, подозревая, что это просто злобная хитрость со стороны свекрови, не торопясь, пошла вслед за ним, презрительно пожимая плечами.

Старуха лежала ничком, распростертая во всю длину на полу посреди комнаты, и, когда сын повернул ее, они увидели ее неподвижное, высохшее лицо, с желтой и сморщенной, словно дубленой, кожей. Глаза ее были закрыты, зубы стиснуты, все худое тело казалось окостеневшим.

Караван, стоя подле нее на коленях, жалобно бормотал:

– Мама, бедная моя мама!

Но госпожа Караван-младшая, поглядев на нее с минуту, объявила:

– Пустое, у нее снова обморок, вот и все! И это только для того, чтобы помешать нам обедать, уверяю тебя.

Тело перенесли на кровать, раздели донага, и все – Караван, его жена, служанка – принялись растирать его. Но, несмотря на все их усилия, старуха не приходила в сознание. Тогда послали Розалию за «доктором» Шене. Он жил на набережной, около Сюренна. Это было далеко, и ждать пришлось долго. Он явился и, осмотрев, ощупав, выслушав старуху, объявил:

– Это конец.

Караван с судорожными рыданиями припал к телу матери. Он порывисто целовал ее застывшие черты, плача обильными слезами, которые крупными каплями падали на мертвое лицо.

Госпожа Караван-младшая, стоя позади мужа, в приступе подобающей случаю скорби испускала слабые стоны и усиленно терла глаза.

Караван с опухшим лицом, с растрепанными жидкими волосами, уродливый в своем искреннем горе, вдруг поднялся:

– Доктор, вы уверены?... Вы вполне уверены?...

Лекарь быстро подошел и, трогая труп с профессиональной ловкостью торговца, показывающего свой товар, сказал:

– Извольте, дорогой мой, посмотрите на глаза.

Он приподнял веко, и под пальцем показался глаз старухи, ничуть не изменившийся; разве только зрачок казался немного расширенным. Караван почувствовал удар в самое сердце, и ужас пронзил его до мозга костей. Шене поднял скрюченную руку, с усилием разогнул пальцы и сказал сердито, как бы бросая в лицо противнику:

– Взгляните-ка на эту руку. Я в таких случаях никогда не ошибаюсь, уж будьте покойны.

Караван снова припал к трупу, почти с воем, меж тем как его жена, не переставая всхлипывать, делала все необходимое. Она придвинула ночной столик и, покрыв его салфеткой, поставила на него четыре свечи, которые зажгла. Затем достала из-за зеркала над камином воткнутую там веточку букса и положила ее между свечами в тарелку, налив туда простой воды, так как освященной у нее не было. Подумав с минуту, она бросила в тарелку щепотку соли, вообразив, должно быть, что совершает этим нечто вроде освящения.

Проделав все церемонии, которыми принято обставлять смерть, она стала у кровати. Шене, помогавший ей в этих приготовлениях, сказал тихонько:

– Надо увести Каравана.

Она кивнула головой в знак согласия и, подойдя к мужу, который все еще плакал, стоя на коленях, подняла его за руку, а Шене подхватил его с другой стороны.

Сначала они усадили его на стул, и жена стала успокаивать, целуя в лоб. Лекарь, в свою очередь, приводил разные доводы, рекомендуя твердость, мужество, покорность судьбе – все то, что трудно сохранить, когда на нас внезапно обрушивается подобное несчастье. Затем они снова взяли его под руки и увели из комнаты.

Он заливался слезами, как большой ребенок, судорожно всхлипывая, весь ослабев, свесив руки, шатаясь. Он спускался по лестнице,

машинально волооча ноги, не сознавая, что делает.

Его усадили за стол в кресло, в котором он обычно сидел, перед почти пустой тарелкой, с ложкой, плававшей в остатках супа. Он сидел, не двигаясь, устремив глаза на свою рюмку, совершенно отупев.

Госпожа Караван в углу беседовала с доктором, расспрашивала относительно всяких формальностей, просила практических указаний. Наконец Шене, все время как будто ожидавший чего-то, взял свою шляпу и, сказав, что он еще не обедал, стал раскланиваться. Но госпожа Караван воскликнула:

– Как, вы еще не обедали? Так останьтесь же, доктор, останьтесь! Мы накормим вас тем, что есть. Вы понимаете, конечно, что мы теперь все равно немного съедим.

Доктор отказывался с извинениями. Но она его не отпускала:

– Да право же, останьтесь. Большое счастье в такие минуты иметь около себя друзей. И, кроме того, может быть, удастся уговорить моего мужа немного подкрепиться: ему теперь так необходимо набраться сил.

Доктор поклонился и снова положил свою шляпу на стул.

– В таком случае я остаюсь, сударыня.

Она отдала распоряжения потерявшей голову Розалии, потом села к столу, чтобы, по ее словам, «сделать вид, что ест, и составить компанию доктору».

Снова принялись за остывший суп. Шене попросил вторую тарелку. После супа подали блюдо рубцов «по-лионски», распространявшее ароматный запах лука. Их решила съесть и госпожа Караван.

– Они превосходны! – сказал доктор.

Она улыбнулась:

– Не правда ли? – Затем обратилась к мужу: – Съешь и ты немножко, мой бедный Адольф, хотя бы только для того, чтобы желудок не был пуст. Подумай, ведь тебе предстоит еще целая ночь!

Он протянул свою тарелку так же послушно, как лег бы в постель, если бы ему это велели, готовый выполнить все беспрекословно, и без рассуждений принялся за еду.

Доктор три раза сам накладывал себе в тарелку, а госпожа Караван время от времени поддевала на вилку большой кусок и съедала его с деланной рассеянностью.

Когда появились макароны, доктор пробормотал:

– Черт возьми, хорошая штука!..

На этот раз госпожа Караван положила всем. Она наполнила даже блюдечки, в которых ковырялись дети, предоставленные самим себе; они пили неразбавленное вино и уже толкали друг друга под столом ногами.

Доктор Шене вспомнил, что макароны – это итальянское блюдо – очень любил Россини. И вдруг он воскликнул:

– Пойдите! Да ведь тут получается рифма. Ею можно начать стихотворение:

Маэстро Россини

Любил макарони.

Его никто не слушал. Госпожа Караван вдруг задумалась. Она взвешивала все возможные последствия события; а в это время муж ее катал шарики из хлеба, клал их затем на скатерть и пристально, с тупым видом глядел на них. Испытывая мучительную жажду, он беспрестанно подносил ко рту свой наполненный вином стакан. Его рассудок, уже расстроенный неожиданным потрясением и горем, заволокло туманом, и все кружилось в его голове, отяжелевшей от начавшегося утомительного процесса пищеварения.

Впрочем, доктор тоже лил в себя, как в бочку, и заметно пьянел. Даже г-жа Караван под влиянием реакции, которая следует за всяким нервным потрясением, была возбуждена, растеряна и, несмотря на то что пила одну только воду, чувствовала, что в голове у нее все путается.

Шене стал рассказывать разные истории о покойниках, казавшиеся ему особенно забавными. В этом парижском предместье, заселенном провинциалами, наталкиваешься на свойственное крестьянину равнодушие к умершим, будь то даже родной отец или мать: на какое-то неуважение, бессознательную жестокость, столь обычную в деревне и столь редкую в Париже. Доктор говорил:

– Вот хотя бы на прошлой неделе – зовут меня на улицу Пюто. Прихожу и вижу: больной умер, а у его кровати родные преспокойно допивают бутылку анисовки, купленную накануне, чтобы удовлетворить прихоть умирающего.

Но госпожа Караван, занятая мыслями о предстоящем наследстве, не слушала, а опустошенный мозг ее мужа не воспринимал ничего.

Подали кофе, сваренное покрепче для поддержания бодрости. С каждой чашкой, приправленной коньяком, все ярче алели щеки и мешались последние мысли в уже отуманенных головах. Потом доктор, схватив вдруг бутылку с коньяком, налил всем, «чтобы прополоскать глотку». И, не разговаривая, осоловел от приятной теплоты, вызываемой перевариванием пищи, невольно проникшись тем ощущением животного наслаждения, которое вызывает алкоголь после еды, они медленно прихлебывали подслащенный коньяк, образовавший на дне чашек желтоватый сироп.

Дети заснули, и Розалия их уложила. Караван из бессознательной потребности забыться, свойственной всем несчастным, несколько раз подливал себе коньяку, и в его мутных глазах появился блеск.

Доктор наконец поднялся и, взяв своего приятеля под руку, сказал:

– Давайте пройдемся. Вам будет полезно немного проветриться. Когда у человека неприятности, ему не следует сидеть на одном месте.

Караван послушно надел шляпу, взял трость и вышел с доктором. Рука об руку при блеске звезд они зашагали по направлению к Сене.

Теплая ночь была напоена благоуханием, так как все окрестные сады в это время года были полны цветов, и их ароматы, дремавшие днем, казались, пробуждались с наступлением вечера и разносились в сумраке, смешиваясь с легким дыханием ветра.

Широкая улица с двумя рядами газовых фонарей, тянувшимися до самой Триумфальной арки, была нема и пустынна. Но там, вдали, в красноватом тумане, шумел Париж. Шум его походил на непрерывный грохот, и как бы в ответ по временам, издалека, в полях, свистел поезд, мчавшийся на всех парах к Парижу или уносившийся через провинцию к океану.

В первый момент от свежего воздуха, неожиданно ударившего в лицо им обоим, доктор чуть не потерял равновесие, а у Каравана усилилось головокружение, которое появлялось у него после обеда. Он шел как во сне, с онемевшим, словно парализованным рассудком, не ощущая больше острой боли, в каком-то душевном оцепении, не дававшем ему страдать; он испытывал даже какое-то облегчение, которое еще усиливалось от теплого дыхания ночи. Дойдя до моста, они свернули направо, и река дохнула им в лицо свежестью. Она текла, грустная и спокойная, перед стеной высоких тополей, и звезды, казалось, плыли по воде, колеблемые течением. Тонкий беловатый туман, колыхавшийся над откосом противоположного берега, вливал в легкие влажный воздух. Караван вдруг остановился, пораженный этим запахом реки, расшевелившим в его душе воспоминания далекого прошлого.

Он вдруг снова увидел свою мать такой, какой она была когда-то, во времена его детства. Вот она на коленях у их дома, там, в Пикардии, стирает в ручейке, бегущем через сад, белье, сложенное в тазу тут же, подле нее. Он слышал стук ее валька среди мирной деревенской тишины, ее голос, звавший его:

– Альфред, принеси мне мыло.

Он вспомнил: тогда так же, как сейчас, пахло рекой, такой же вставал туман над влажной землей – тот болотный пар, вкус которого он не забыл до сих пор и снова ощутил сегодня, как раз в тот самый вечер, когда мать его умерла. Он остановился, застыв в новом приливе неистового отчаяния. Словно молния озарила вдруг всю глубину его несчастья. Это коснувшееся его мимолетное дуновение ввергло его в черную бездну беспросветной скорби. Он чувствовал, что сердце у него разрывается при мысли о вечной разлуке. Жизнь его раскололась надвое: вся молодость исчезла с этой смертью. С прошлым все кончено. Рассеялись все воспоминания юности; не с кем будет больше говорить о давнишнем, о людях, которых он знал когда-то, о родных местах, о себе самом, об интимной стороне его прежней жизни. Половина его души перестала существовать. Теперь была очередь за второй половиной.

И вот перед ним промелькнули образы прошлого. Он снова видел маму молодой, в ее поношенных платьях, которые она носила так долго, что они казались неотделимыми от ее тела. Он вспоминал тысячу забытых подробностей: стершиеся было в памяти выражения ее лица, ее жесты, интонации, привычки, ее причуды, вспышки гнева, морщины на ее лице, движения ее худых пальцев, все знакомые позы, которых он никогда больше не увидит.

И, цепляясь за доктора, он испускал стоны. Его слабые ноги дрожали, все его грузное тело тряслось от рыданий, и он шептал:

– Мама, бедная мама, бедная мама!..

Но его спутник, все еще пьяный, мечтавший окончить вечер в одном из тех мест, которые он тайно посещал, и тяготившийся этим острым приступом горя, усадил его у берега на траву и почти тотчас же ушел под предлогом, что ему нужно навестить больного.

Караван плакал долго. Потом, когда слезы его иссякли, когда вся боль, можно сказать, вылилась вместе с ними, он снова почувствовал облегчение, покой, внезапное умиротворение.

Взошла луна. Она заливала небосклон своим мягким светом. По высоким прямым тополям скользили серебряные блики, и туман над равниной казался колеблющейся снежной пеленой. Река, по которой звезды теперь уже не плыли, была словно покрыта перламутром и продолжала течь, сверкая зыбью. Воздух был теплый, ветерок доносил благоухание Сон земли был исполнен неги, и Караван впивал эту сладость ночи. Он дышал глубоко и, казалось, ощущал, как проникает в него до самой глубины свежесть, спокойствие, неземная отрада.

Он, однако, боролся с этим охватившим его чувством блаженства, мысленно повторяя: «Мама, бедная мама!» Он пытался заплакать, считая это как бы долгом порядочного человека, но слез больше не было; и не было больше печали в тех мыслях, которые только что заставляли его так сильно рыдать.

Тогда он поднялся, чтобы идти домой. Он шел медленно, среди равнодушного покоя безмятежной природы, с сердцем, умиротворенным против его воли.

Дойдя до моста, он увидел фонарь последнего отходящего трамвая, а за ним – освещенные окна кафе «Глуб». Тогда у него явилась

потребности рассказать кому-нибудь о своем несчастье, вызвать сочувствие и интерес к себе. Он сделал печальное лицо, распахнул дверь кафе и подошел к стойке, за которой, как всегда, восседал хозяин. Он рассчитывал произвести эффект, ожидал, что все встанут, подойдут к нему с протянутыми руками: «Что такое с вами?»

Но никто не обратил внимания на его расстроенный вид. Тогда он облокотился на стойку и, сжимая лоб руками, пробормотал: «О, боже мой, боже мой!..»

Хозяин посмотрел на него:

– Вы нездоровы, господин Караван?

Он отвечал:

– Нет, мой друг, у меня только что умерла мать.

Тот рассеянно бросил: «А!» – и, так как в эту минуту в глубине кафе кто-то из посетителей крикнул: «Кружку пива!», он отозвался громовым голосом: «Сейчас!» – и бросился туда, оставив ошеломленного Каравана.

За тем же столом, за которым он видел их перед обедом, трое любителей домино, неподвижные и сосредоточенные, все еще продолжали свою игру. Караван подошел к ним, ища сочувствия. Так как никто из них, видимо, его не замечал, он решился заговорить:

– У меня только что случилось большое несчастье, – сказал он.

Все трое одновременно подняли головы, не отрывая глаз от костяшек, которые они держали в руках.

– Неужели? А что такое?

– Умерла моя мать.

Один пробормотал: «Ах, черт возьми!» – с тем притворно огорченным видом, за которым скрывается равнодушие. Другой, не найдя что сказать, покачал головой и издал какой-то печальный свист. Третий снова принялся за игру, как бы выражая своим видом: «Только всего!»

Караван ожидал каких-нибудь слов, что называется, «идуших от сердца». После такого приема он удалился, негодуя на равнодушие этих людей к горю друга, хотя горе это сейчас уже настолько притупилось, что он почти не чувствовал его больше. И он вышел из кафе. Жена в ночной рубашке дождалась его на низком стуле у открытого окна, все еще занятая мыслями о наследстве.

– Раздевайся, – сказала она. – Мы поговорим, когда ляжем в постель.

Он поднял голову и указал глазами на потолок:

– Но... там наверху... никого нет.

– Извини, пожалуйста. Розалия около нее, а в три часа ты ее сменишь, после того как поспишь немного.

Он все-таки остался в кальсонах, чтобы быть готовым на всякий случай, обвязал голову платком и последовал за женой, уже скользнувшей под одеяло.

Некоторое время они молча сидели рядом на постели. Она о чем-то размышляла.

Даже в эти часы ее чепчик был украшен розовым бантом; и по непреодолимой привычке всех чепцов, которые она носила, он немного сползал на одно ухо.

Вдруг она повернулась к мужу:

– Скажи, ты не знаешь, твоя мать составила завещание?

Он ответил запинаясь:

– Нет... не... не думаю... Нет, вероятно, не составила.

Госпожа Караван посмотрела мужу в глаза и сказала тихо и злобно:

– Это гнусность, понимаешь! Десять лет мы из кожи лезли, заботясь о ней, держали ее у себя, кормили. Небось твоя сестрица не стала бы столько делать для нее! Да и я бы не стала, если б знала, как меня за это отблагодарят. Это позор для ее памяти! Ты скажешь, что она платила за себя? Это верно. Но за заботы детей не платят деньгами – за них вознаграждают после смерти в завещании. Вот как поступают порядочные люди. А что я получила за мои труды и хлопоты? Нет, это мерзко, прямо-таки мерзко!

Караван растерянно повторял:

– Но, дорогая... дорогая... прошу тебя... умоляю...

В конце концов она успокоилась и уже обычным тоном сказала:

– Завтра утром нужно будет известить твою сестру.

Он подскочил:

– Да, правда, я не подумал об этом! Как только рассветет, пошлю телеграмму.

Но она как человек, уже заранее все обдумавший, остановила его:

– Нет, отправь ее между десятью и одиннадцатью часами, чтобы у нас было время управиться до ее приезда. Из Шарантона сюда ехать часа два, не больше. Мы скажем ей, что ты совсем потерял голову. Если послать телеграмму с утра, то мы не успеем все устроить.

Но тут Караван ударил себя по лбу и сказал робким голосом, каким он всегда говорил о своем начальстве, так как самая мысль о нем приводила его в трепет:

– Нужно также дать знать и в министерство.

Жена возразила:

– К чему? В таких случаях забывчивость прощается. Не предупреждай заранее, послушайся меня. Твой начальник ничего не сможет сказать, и ты поставишь его в затруднительное положение.

– Это верно, – согласился муж. – И разозлится же он, когда увидит, что я не пришел! Да, ты права, это замечательная мысль... Когда я потом объясню ему, что у меня умерла мать, он вынужден будет молчать.

И чиновник, заранее восхищенный этой забавной проделкой, потирал руки, представляя себе физиономию своего начальника. А наверху в это время лежало тело старухи, рядом с заснувшей служанкой.

Госпожа Караван имела озабоченный вид, словно поглощенная какой-то мыслью, которую ей трудно было высказать. Наконец она решилась.

– Твоя мать ведь подарила тебе свои часы, не правда ли, ту девушку с бильбоке?

Караван порылся в памяти и ответил:

– Да, да, она мне говорила, но это было давным-давно, когда она только приехала сюда. Она сказала: «Вот эти часы достанутся тебе, если ты будешь хорошенько заботиться обо мне».

Госпожа Караван, успокоенная, просияла:

– Ну тогда, знаешь что, надо за ними сходить, иначе, когда твоя сестра приедет, она помешает нам их взять.

Но муж колебался:

– Ты думаешь?...

Она рассердилась.

– Конечно, думаю. Никто не увидит и не услышит, а когда они будут здесь – они наши. И то же самое с комодом, который стоит у нее в комнате, – тот, что с мраморной доской. Она мне его подарила как-то в добрую минуту. Заодно мы снесем и его вниз.

Караван слушал с нерешительным видом:

– Но знаешь, милая, это большая ответственность.

Она в ярости повернулась к нему:

– Ах вот как! Ты, видно, никогда не переменишься. Ты скорее позволишь своим детям умереть с голоду, чем пошевелишь пальцем. Раз она мне подарила этот комод, значит, он наш, ведь так? А если это не понравится твоей сестре, пусть она поговорит со мной. Плевать я хочу на нее. Ну вставай, и сейчас же перенесем сюда все, что твоя мать нам подарила.

Покорный, дрожащий, Караван встал с постели и хотел было надеть брюки, но жена не позволила ему:

– Не стоит одеваться, иди в кальсонах, этого достаточно. Я тоже пойду так, как есть.

И оба в ночных туалетах бесшумно поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в комнату, где четыре свечи, горевшие над тарелкой и освященной веткой букса, казалось, одни охраняли суровый покой умершей. Розалия, раскинувшись в кресле, вытянув ноги и скрестив руки на животе, склонив набок голову, с открытым ртом, спала, тихо похрапывая.

Караван взял часы. Это была одна из аляповатых вещей, которые оставило нам во множестве искусство времен Империи. Девушка из золоченой бронзы, с головой, украшенной цветами, держала в руке бильбоке, шарик которого служил маятником.

– Дай это мне, – сказала госпожа Караван, – а ты возьми мраморную доску с комода.

Он повиновался и, пытаясь с трудом взвалил доску себе на плечо.



Супруги двинулись обратно. В дверях муж нагнулся и стал спускаться вниз, сотрясая лестницу, а жена, пятясь задом, одной рукой освещала ему путь, а другой придерживала под мышкой часы.

Очутившись у себя в комнате, она испустила глубокий вздох.

– Главное сделано, – сказала она, – теперь пойдём за остальным.

Но ящики комода были доверху полны разным скарбом старухи.

Все это нужно было куда-нибудь уложить.

Госпожа Караван нашла выход из положения:

– Пойди-ка принеси сосновый сундук, что стоит в передней. Его можно поставить здесь, он не стоит и сорока су.

И, когда сундук был принесен, началось перекаладывание. Они вынимали вещь за вещь: манжеты, воротнички, рубашки, чепцы – все убогие наряды старухи, лежавшей тут же, за их спинами, и укладывали их в деревянный сундук в строгом порядке, так, чтобы обмануть госпожу Бро (дочь покойной), которая должна была приехать на следующий день.

Уложив все, они снесли вниз сначала ящики, а потом и самый комод, держа его с двух сторон. Оба долго выбирали, куда лучше всего его поставить. Решили – в спальне, в простенке между окнами, напротив кровати.

Как только комод был водворен на место, госпожа Караван наполнила его своим собственным бельем. Часы поставили на камине в столовой. Супруги проверили получившийся эффект. Оба пришли в восторг.

– Отлично выглядят, – сказала жена.

Муж подтвердил:

– Да, отлично.

Потом они улеглись, и г-жа Караван потушила свечу. Скоро на обоих этажах все погрузилось в сон.

Было уже совсем светло, когда Караван проснулся. В голове у него стоял туман, и о вчерашнем событии он вспомнил только спустя несколько минут. Это воспоминание больно ударило его в сердце, и он вскочил с постели, снова расстроенный, готовый заплакать.

Он торопливо поднялся наверх в комнату матери, где Розалия все еще спала в той самой позе, в какой заснула накануне, ни разу не проснувшись за всю ночь. Он отослал ее вниз, так как ей пора было приниматься за работу, заменил догоревшие свечи новыми и стал смотреть на мать. В голове его проходили те мнимо глубокие мысли, религиозные и философские банальности, которые посещают ограниченный ум перед лицом смерти.

Но жена позвала его – и он сошел вниз. Госпожа Караван записала все, что нужно было сделать этим утром, и подала мужу список, который привел его в ужас.

Он прочел:

- 1) Заявить в мэрию.
- 2) Вызвать врача, чтобы он засвидетельствовал смерть.
- 3) Заказать гроб.
- 4) Сходить в церковь.
- 5) В бюро похоронных процессий.
- 6) В типографию – заказать извещения.
- 7) К нотариусу.
- 8) На телеграф – известить родственников.

К этому еще множество мелких поручений. Он взял шляпу и вышел.

Между тем весть о смерти распространилась, и соседки стали приходить поглядеть на покойницу.

В нижнем этаже, у парикмахера, из-за этого даже произошла сцена между мужем и женой, в то время как он брил одного посетителя.

Жена, вязавшая чулок, пробормотала:

– Вот еще одной не стало. И скряга же была, немного таких найдется. По правде сказать, я не очень-то ее любила. А все-таки надо будет сходить посмотреть на нее.

Муж, намыливая подбородок клиенту, проворчал:

– Вот еще фантазия! Только женщины и способны на это. Мало того что надоедают вам всю жизнь, даже после смерти не могут оставить в покое.

Но жена, не смущаясь, возразила:

– Нет, не выдержу, пойду. Мне это с утра не дает покоя. Если мне ее не придется увидеть, то я, верно, стану думать об этом всю жизнь. А вот посмотрю на нее хорошенько, чтобы запомнить лицо, и тогда успокоюсь.

Брадобрей пожал плечами и обратился к господину, которому скоблил щеку:

– Ну скажите, пожалуйста, какие только мысли не приходят в голову этим проклятым бабам! Вот уж не стал бы я для развлечения ходить смотреть мертвецов.

Но жена, услышав его слова, ответила все так же спокойно:

– Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь.

И, положив свое вязанье на прилавок, пошла в верхний этаж. Там уже были две соседки, беседовавшие о событии с г-жой Караван, которая рассказывала им всякие подробности.

Все отправились в комнату умершей. Четыре женщины вошли на цыпочках одна за другой, окропили одеяло соленой водой из тарелки, опустились на колени, перекрестились, шепча молитву, потом, встав, расширенными глазами, полуоткрыв рты, долго созерцали труп, в то время как невестка покойной, закрыв лицо платком, делала вид, что отчаянно рыдает.

Повернувшись, чтобы выйти, она заметила Марию-Луизу и Филиппа-Огюста в одних рубашонках, с любопытством выглядывавших из-за дверей. Сразу забыв о своей притворной печали, она набросилась на них, замахнувшись рукой, крича сердито:

– Марш отсюда, сорванцы!

Десять минут спустя, придя наверх с новой партией соседок, снова побрызгав веткой на тело свекрови, помолившись, поплавав, проделав все, что полагается, она увидела, что дети опять стоят тут же, позади нее. Для очистки совести она дала им по шлепку, но в дальнейшем уже больше не обращала на них внимания. И при каждом приходе посетителей оба малыша неизменно присутствовали, так же, как взрослые, становились в уголке на колени и в точности повторяли все, что у них на глазах проделывала мать.

После полудня толпа любопытных поредела. Скоро совсем перестали приходить. Госпожа Караван, возвратившись к себе, занялась приготовлениями к похоронам. Мертвая осталась одна.

Окно в комнате было открыто. В него проникала палящая жара и клубы пыли. Пламя четырех свечей колебалось рядом с неподвижным телом. А по одеялу, по лицу с закрытыми глазами, по вытянутым рукам ползали мухи, улетали, опять прилетали, прохаживались, не переставая навещать старуху в ожидании, когда наступит их час.

Мария-Луиза и Филипп-Огюст ушли на улицу побегать. Их тотчас окружили товарищи, главным образом девочки, которые быстрее развиваются и раньше догадываются о всех тайнах жизни. Они расспрашивали, как взрослые:

– У тебя умерла бабушка?

– Да, вчера вечером.

– А какие они бывают, покойники?

И Мария-Луиза объясняла, рассказывала о свечах, о ветке, о лице. Тогда в детях пробудилось любопытство, и они попросили свести и их также посмотреть на покойницу.

Мария-Луиза тут же организовала первую экскурсию из пяти девочек и двух мальчиков – самых взрослых и самых отважных из всех. Она заставила их снять башмаки, для того чтобы никто их не заметил. Компания прокралась в дом и шмыгнула наверх проворно и неслышно, как стая мышей.

В комнате Мария-Луиза, подражая матери, выполнила весь церемониал. Она торжественно ввела своих товарищей, опустилась на колени, перекрестилась, пошептала губами, встала, побрызгала постель, и, в то время как дети, сбившись в кучу, подходили со страхом, любопытством и восхищением посмотреть на лицо и руки умершей, она вдруг принялась притворно всхлипывать, закрыв глаза платком. Потом, сразу утешившись при мысли о тех, кто ожидал снаружи, она убежала; уведя всех, она привела тотчас же вторую группу, потом третью. Детвора всего околотка, вплоть до маленьких нищих в лохмотьях, сбежалась на это новое развлечение. И девочка всякий раз копировала в совершенстве все кривляния матери.

В конце концов она устала. Детей отвлекла другая игра – они убежали. И старая бабушка осталась одна, окончательно забытая всеми.

Сумерки наполнили комнату, и дрожащее пламя свечей играло светлыми бликами на сухом морщинистом лице.

Около восьми часов Караван поднялся наверх, закрыл окно и переменял свечи. Он входил теперь спокойно, уже привыкнув смотреть на труп, как будто он лежал здесь целые месяцы. Он даже обратил внимание на то, что до сих пор совсем не заметно тления, и сказал об этом жене, когда они селись обедать. Жена ответила:

– Да ведь она суха, точно дерево, и год пролежала бы.

Суп съели в полном молчании. Дети, которые весь день носились на свободе, усталые, дремали на стульях, и никто не говорил ни слова.

Вдруг лампа начала гаснуть. Госпожа Караван сейчас же подняла фитиль, но лампа гулко затрещала, захрипела и потухла. Забыли купить керосину! Идти в лавку значило задержать обед. Стали искать свечей. Но их не было больше, кроме тех, которые горели наверху на ночном столике.

Госпожа Караван, скорая на решения, тотчас послала Марию-Луизу взять оттуда две свечи. И все стали ждать в темноте.

Сначала явственно слышались шаги девочки, поднимавшейся по лестнице. Потом на несколько секунд наступила тишина, и вдруг девочка поспешно спустилась вниз.

Она появилась в дверях, перепуганная, еще более взволнованная, чем накануне, когда она возвестила о несчастье, и прошептала, задыхаясь:

– Ой, папа, бабушка одевается!

Караван вскочил так стремительно, что стул отлетел к стене. Он пролепетал:

– Что? Что ты говоришь?

Но Мария-Луиза, захлебываясь от волнения, все твердила:

– Ба... ба... бабушка одевается, она идет сюда!

Караван как безумный бросился вверх по лестнице, за ним – ошеломленная жена. Но у двери на третьем этаже он остановился, дрожа от страха, не решаясь войти. Что его ждет там?

Госпожа Караван, более смелая, повернула ручку двери и вошла.

В комнате, казалось, стало еще темнее. И посредине шевелилась высокая худая фигура. Старуха была на ногах!

Проснувшись от летаргического сна, она, даже еще не вполне придя в сознание, повернулась набок и, приподнявшись на локте, задула три свечи из тех, что горели у ее смертного ложа. Затем, набравшись сил, она встала и хотела достать свою одежду. Сначала исчезновение комода ее озадачило, но мало-помалу она разыскала свои вещи в деревянном сундуке и спокойно оделась. После этого она выпила воду из тарелки, засунула ветку снова за зеркало, расставила стулья по местам и собиралась сойти вниз, когда перед ней появились сын и невестка.

Со слезами на глазах Караван бросился к ней, схватил ее за руки, поцеловал. Жена, стоя за ним, повторяла с лицемерным видом:

– Какое счастье! Какое счастье!

Но старуха, ничуть не растроганная, как будто даже ничего не понимала, неподвижная, как статуя, с ледяным взглядом, спросила только:

– Скоро будет обед?

Караван пролепетал, совсем растерявшись:

– Да, да, мама, мы ждали тебя.

С непривычной услужливостью он взял ее под руку, а госпожа Караван-младшая схватила свечу, чтобы осветить им, и, пятясь перед ними, стала шаг за шагом спускаться с лестницы, совершенно так же, как спускалась прошлой ночью впереди мужа, несшего мраморную доску. Дойдя до второго этажа, она чуть не столкнулась с людьми, которые поднимались наверх. Это были приехавшие из Шарантона госпожа Бро с мужем. Госпожа Бро, высокая, толстая, с большим, словно от водянки раздувшимся животом, заставлявшим ее откидывать назад туловище, в ужасе раскрыла глаза, готовая бежать.

Муж ее, сапожник, социалист, маленький человек, заросший волосами чуть не до самых глаз и сильно напоминавший обезьяну, равнодушно буркнул:

– Вот как. Она воскресла?

Узнав их, госпожа Караван стала делать им отчаянные знаки. Потом громко воскликнула:

– Ах, это вы? Какая приятная неожиданность!

Но ошеломленная госпожа Бро ничего не могла понять. Она ответила вполголоса:

– Да ведь мы приехали из-за вашей телеграммы, мы думали – все кончено.

Стоявший сзади муж щипал ее, чтобы заставить ее замолчать. Он заметил, ехидно усмехаясь в свою густую бороду:

– С вашей стороны было очень любезно пригласить нас. Вот мы сейчас же и приехали!

Это был намек на давнишнюю вражду между двумя семействами.

Старуха в это время сошла уже на последние ступеньки. Зять живо бросился ей навстречу и потерся о ее щеки своим заросшим шерстью лицом, крича ей на ухо, так как она была глуха:

– Ну, как, мамаша, все в порядке? Все таким же молодцом, а?

Госпожа Бро, увидев живой и здоровой ту, кого она ожидала застать мертвой, так оторопела, что не решалась даже обнять мать. Ее огромный живот загородил всю площадку, мешая остальным пройти вперед.

Старуха беспокойно и подозрительно, но все еще не говоря ни слова, оглядывала всех вокруг себя. Взгляд ее маленьких серых глаз, жесткий и пытливый, останавливался то на одном, то на другом, и в нем ясно читались мысли, неприятно смущавшие детей.

Караван сказал в виде пояснения:

– Она немножко прихворнула, но теперь она поправилась, совсем поправилась – не так ли, матушка?

Старуха, двинувшись дальше, ответила слабым голосом, словно доносящимся издалека:

– Это был просто обморок. Я все слышала.

Наступило смущенное молчание. Все прошли в столовую.

Потом принялись за обед, состряпанный в несколько минут.

Один лишь Бро сохранял свой апломб. Лицо его, похожее на лицо злой гориллы, подергивалось гримасами. Он отпускал двусмысленные словечки, явно смущавшие всех.

В передней поминутно звонил колокольчик, и растерянная Розалия вызывала Каравана, который спешил туда, бросив салфетку. Его шурин даже осведомился, не приемный ли день у него сегодня. Тот пробормотал в ответ:

– Нет, так, все по разным делам, всякие мелочи.

Потом принесли пакет. Караван рассеянно вскрыл его, и оттуда выглянули извещения с черной каймой. Покраснев до ушей, он снова завернул пачку карточек и сунул ее в карман. Впрочем, его мать этого не заметила: она пристально смотрела на свои часы, золоченое бильбоке которых покачивалось на камине. И тягостное смущение все нарастало среди ледяного молчания.

Наконец старуха повернула к дочери свое сморщенное лицо ведьмы и со злорадным огоньком в глазах сказала:

– В понедельник привези твою дочурку, я хочу ее повидать.

Госпожа Бро, просияв, воскликнула:

– Хорошо, мама!

А госпожа Караван-младшая побледнела и с досады чуть не лишилась чувств.

Мужчины между тем постепенно разговорились. По какому-то поводу между ними завязался спор о политике; Бро защищал идеи революционеров и коммунистов, бесновался, глаза его на волосатом лице сверкали, он выкрикивал:

– Собственность, милостивый государь, – это обкрадывание рабочего народа. Земля принадлежит всем. Наследство – это постыдная гнусность!

Но тут он вдруг смущенно запнулся, как человек, спохватившийся, что сказал глупость. Затем, уже более мягко, он прибавил:

– Впрочем, сейчас не время спорить об этом.

Дверь открылась. Появился доктор Шене. В первую минуту он растерялся, но затем быстро овладел собой и подошел к старухе:

– А, мамаша! Сегодня вы уже молодцом? О, я это предвидел, поверьте! Вот только сейчас, поднимаясь по лестнице, я говорил себе: «Держу пари, что старушка наша уже на ногах». – И он легонько похлопал ее по спине. – Она крепка, как Новый мост. Она еще нас переживет, вот увидите.

Он уселся, взял кофе, который ему предложили, и тотчас же вмешался в разговор обоих мужчин, поддерживая Бро, так как он и сам принимал некоторое участие в Коммуне.

Старуха, почувствовав усталость, захотела уйти. Караван поспешил к ней. Она пристально посмотрела ему в глаза и сказала:

– Сейчас же отнеси наверх мой комод и часы.

Затем, после того как он, заикаясь, пролепетал: «Хорошо, мама», – она взяла под руку дочь и вышла с нею.

Супруги Караван остались на месте, растерянные, безмолвные и оглушенные обрушившимся на них ужасным несчастьем, между тем как

Бро потирал руки, прихлебывая свой кофе.

Вдруг госпожа Караван, обезумев от гнева, накинулась на него с воплями:

– Вы – вор, мошенник, негодяй, я плюю в вашу гнусную рожу, я вам... я вас...

Она задыхалась, не находя слов. А он, посмеиваясь, пил кофе.

Тут как раз вернулась его жена, и госпожа Караван набросилась теперь на невестку. Обе женщины – одна с огромным, страшным животом, другая худая, эпилептического вида, с трясущимися руками, не своим голосом крича во все горло, – осыпали друг друга градом ругательств.

Вмешались Шене и Бро, и последний, подталкивая свою половину за плечи, выпроводил ее из комнаты, крича:

– Перестань, дура, ты уж слишком разошлась.

Слышно было, как они на улице, удаляясь, все еще перебранивались.

Доктор Шене тоже ретировался.

Супруги остались наедине.

Тогда, обливаясь холодным потом, Караван упал на стул, шепча:

– Что же я скажу теперь своему начальнику?